

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Андрей Бѣлый. Бѣгство. Горемыки. Стихи | 3 | Изъ жизни | 63 |
| Маркъ Кавелинъ. Оплоть общества | 6 | Библиографія: | |
| Иванъ Бунинъ. Панихида. На рейдѣ. Стихи | 12 | Борисъ Поповъ. Иванъ Бунинъ. Томъ III. | 64 |
| М. Кириенко-Волошинъ. Пророки и мстители | — | Сергѣй Кречетовъ. Ѳедоръ Сологубъ. Политическія сказочки | 66 |
| Александръ Блокъ. 2 стихотворенія | 27 | Эрмій. XII сборникъ т-ва „Знаніе“. | — |
| Мирз. Смерть | 29 | Орѣ. Сергѣй Рафаловичъ. Женскія письма | — |
| Георгій Чулковъ. Стихотвореніе | 30 | Ник. Поярковъ. Філянскій. Лірика | 67 |
| А. Кондратьевъ. Въ объятіяхъ тумана | 31 | А. Бачинскій. Оскаръ Уайльдъ. Замыслы | — |
| Иванъ Новиковъ. Про Мишу. Стих | 33 | Александръ. Анатоля Франсъ. Таисъ | 68 |
| Н. Мицкскій. Идея русской революціи (продолженіе) | 34 | Ал. Д—овъ. Г. Галина. Предразсвѣтныя пѣсни | 69 |
| Нина Петровская. Рабъ | 48 | Алексскъ. Л. Н. Толстой. О значеніи русской революціи | — |
| Taciturno. Искусство прошлаго и искусство будущаго | 50 | Александръ. Проф. Н. А. Умовъ. Эволюція живого и задача пролетаріата мысли и воли | 70 |
| С. Яремичъ. Русское искусство въ Парижѣ | 52 | С. Соловьевъ. Вопросы религіи | — |
| Carip. Вторая акварельная выставка общества имени Леонардо да Винчи | 57 | Obliviscenda : | |
| Ал. Кондратьевъ. Отчетная выставка Высшаго художественнаго училища при Императорской Академіи Художествъ | 58 | Азраиль. Андрей Полевой. Символическая трагедія Руси | 71 |
| Борисъ Поповъ. Письма о музыкѣ. II. Ноябрьскія розы | — | С. Корнъ. Арнольдъ Аріэль. Жрица свободы | 72 |
| Александръ Блокъ. Драматическій театръ В. Ф. Комиссаржевской | 61 | З. О. А. Вихровъ. Опавшіе лепестки | — |

2106^а
1924

Идея Русской Революціи.

Соціалъ-гуманизмъ и его задачи.

Мы видѣли, что разрушительная задача революціи заключается въ устраненіи того пространственнаго кошмара, который называется русской государственностью и который, угнетая русскую личность, дѣлалъ ее неспособной для культурнаго творчества. Отсюда логически слѣдуетъ, что положительная задача революціи должна заключаться въ томъ, чтобы разбудить освобожденную личность для культурной работы. Прежній режимъ сдѣлалъ изъ Россіи казарму, канцелярію, тюрьму. Свобода, добытая революціей, должна превратить Россію въ школу, въ мастерскую, въ музей.

Такое опредѣленіе творческой задачи революціи, будучи логически неоспоримымъ, однако практически бесполезно, какъ слишкомъ формальное. Никто не сомнѣвается, что политически освобожденная Россія вступитъ на путь культурнаго строительства; вопросъ лишь въ томъ, каково будетъ направленіе этого пути и содержаніе этой творческой работы.

Мы должны твердо помнить, что законовъ историческаго развитія, обязательныхъ во всѣ времена и для всѣхъ народовъ, не существуетъ вовсе. Исторія каждаго народа складывается подъ вліяніемъ многихъ и сложныхъ условій, изъ которыхъ одни, вродѣ экономическихъ, имѣютъ какъ-бы универсальный характеръ, а другія — географическія, психологическія, культурныя — для каждаго народа свои. Вотъ почему духовный обликъ двухъ народовъ, даже современныхъ другъ другу и жи-

вущих по сосѣдству, иногда отличается многими своеобразными чертами. Такъ напримѣръ, условия экономическаго производства были почти одинаковы въ древней Греціи и Персіи, базируя и тутъ, и тамъ на принудительномъ трудѣ рабовъ. Однако, Персія коснѣла въ деспотизмѣ и варварствѣ, между тѣмъ какъ Греція расцвѣла для свободы и культуры. Въ Іудеѣ, при появленіи Христа, хозяйственныя отношенія остались неизмѣнными, какими были до него. Однако, благодаря условиямъ историческимъ и созданнымъ ими психологическимъ переживаніямъ, возникло религиозное воодушевленіе, которое само сдѣлалось исторической силой для другихъ народовъ. То же различіе народной психологіи мы замѣчаемъ и въ наши дни. Въ Германіи социалистическія идеи разливаются по всей странѣ могучимъ потокомъ; въ Англіи социализмъ еле брезжитъ, еле бьется, какъ обморочный пульсъ. Въ той же Англіи идея монархизма почитается всѣми, какъ народная святыня; въ современной Франціи народъ смотритъ на монархизмъ, какъ на реакціонное пугало. А между тѣмъ Франція, Англія, Германія стоятъ на той же ступени культурнаго развитія и во историческимъ воспоминаніямъ и личной психологіи почти ничѣмъ не отличаются одна отъ другой.

Сколь же громадное должно быть различіе между душевнымъ строемъ европейской личности и русской, выросшихъ при совершенно иныхъ условіяхъ внѣшнихъ и внутреннихъ, и какъ великъ долженъ быть уклонъ предстоящаго намъ историческаго пути отъ европейскаго. Если только вѣрно то, что характеръ и судьба народа опредѣляются не капризомъ судьбы, но условіями реальности, то несомнѣнно, что русская личность, выступая теперь на арену культуры и творчества, не представляетъ собою *tabula rasa*, на которой безъ измѣненій могутъ быть скопированы европейская мысль и чувство. Тѣ долгія столѣтія, которыя

Россія провела подъ мертвящимъ гнетомъ своей государственной идеи, прошли для самосознанія русской личности не безслѣдно. Въ хорошую или дурную сторону они опредѣлили ея своеобразный душевный строй, и оттого предстоящее намъ теперь культурное творчество не можетъ не отличаться своеобразиемъ и самобытностью.

О томъ, что русское строительство должно отличаться какими-то самобытными чертами, мечтали у насъ представители самыхъ противоположныхъ политическихъ партій, отъ патріотовъ-славянофиловъ до революціонера Герцена, но громче всѣхъ о русской самобытности кричали славянофилы, и оттого самое слово «самобытность» сдѣлалось для насъ ненавистнымъ и слегка подозрительнымъ. Но ложь славянофиловъ заключалась не въ томъ, что они вѣрили въ опредѣляющую силу историческихъ условій, а въ томъ, что они выдавали за положительныя особенности русской исторіи ея отрицательныя, уродливыя стороны, подлежащія революціонной ломкѣ. Представьте себѣ, что кто-нибудь, подъ предлогомъ культа челоуѣческаго «я», сталъ-бы совѣтовать людямъ развивать въ себѣ случайныя недостатки и уродства,—хромому усиливать свою хромоту, заикѣ—утрировать свое заиканіе, а горбату—накладывать на горбъ еще подушку. Нѣчто подобное проповѣдывали и славянофилы, убѣждая насъ, во имя самобытности, культивировать уродливыя недостатки нашей исторіи—хромоту самодержавія, заиканіе оффиціальнаго православія, вѣками натертый горбъ народнаго испуга и смиренія.

Теперь революція исдѣлила насъ отъ этихъ недуговъ. Теперь мысль о своеобразномъ направленіи нашего культурнаго творчества не должна болѣе ни пугать, ни смущать насъ. Не слѣдуетъ забывать, что направленіе это не зависитъ ни отъ нашихъ намѣреній, ни отъ нашего сознанія. Народъ, какъ и отдѣльная личность, идетъ по тому

пути, по которому его ведут и толкают внешняя и внутренняя силы, заложенная в окружающем мире и в его бессознательной воле. Но по этому пути он может идти со свѣточемъ сознанія или блуждать в полусознательныхъ потемкахъ. Сознаніе—только одна изъ многихъ внутреннихъ силъ, опредѣляющихъ нашу судьбу. Оно избавляетъ насъ отъ ненужныхъ скитаній, отъ лишней траты силъ, отъ бесполезныхъ столкновеній. Поэтому намъ нужно вскрыть творческую идею нашей революціи съ такой-же очевидностью, съ какой передъ нами выяснилась ея разрушительная идея. И такъ, спросимъ себя, в чемъ заключаются особенности нашей судьбы, которыя опредѣлили нашъ своеобразный душевный строй и должны повліять на направленіе нашего культурнаго творчества?

Мы уже видѣли, что исторія наша отличается отъ европейской не эпизодически, а морфологически, отличается по тому основному процессу, которому подвергалась личность в своемъ ростѣ и развитіи. В Европѣ личность развилась нормально, у насъ—болѣзненно. В Европѣ личность была творцомъ государства, у насъ—его жертвой и отрицаніемъ. Оттого в Европѣ всѣ явленія общественной и государственной жизни носятъ на себѣ печать личности, проникнуты идеаломъ личнаго счастья, тѣмъ началомъ, которое Шопенгауэръ на философскомъ языкѣ называетъ „*principium individuationis*“ и которое на разговорномъ языкѣ называется „индивидуализмомъ“. У насъ же государственность была поражена духомъ пространственнаго безумія, а личность, подъ многовѣковымъ гнетомъ этой безумной, бредовой государственности, мало-по-малу заглушила в себѣ идеалъ индивидуалистическаго счастья, побѣдила *principium individuationis* и вмѣсто него приобрѣла новый идеалъ, новое чувство, которое можно назвать чувствомъ социальности, но не сословной или

классовой, а всечеловѣческой,—социальности гуманитарной. Неудивительно поэтому, что изъ всѣхъ культурныхъ ученій запада мы всего страстнѣе откликнулись на доктрину социализма, какъ на самую близкую намъ в идеалѣ. Но довольствоваться этой доктриной мы не можемъ, ибо европейскій социализмъ такъ же глубоко, хотя болѣе замаскированно, проникнутъ психологіей индивидуализма, какъ всѣ другія проявленія европейской общественности. Русскій социаль-гуманизмъ чувствуетъ себя тѣсно подъ горизонтомъ индивидуализма, хотя-бы и классоваго, и не раньше вздохнетъ свободно, чѣмъ расширитъ этотъ горизонтъ до простора всечеловѣческаго единства. В этомъ расширеніи и углубленіи социалистической доктрины и заключается, можетъ быть, главная задача нашего самобытнаго культурнаго творчества. Но для того, чтобы отнестись къ этой задачѣ вполне сознательно, мы прежде всего должны разсмотрѣть ближе природу и содержаніе европейскаго индивидуализма.

Обыкновенно подъ индивидуализмомъ разумѣютъ болѣзненное модное настроеніе, преувеличенное самосознаніе влюбленной в себя личности, и, говоря о немъ, всегда упоминаютъ имена Штирнера, Ницше, Ибсена. В такомъ пониманіи индивидуализма кроется глубокое недоразумѣніе. Названные писатели только нашли формулу для индивидуализма, со свойственной всѣмъ эпигонамъ трагической откровенностью раскрыли сущность того душевнаго строя, который опредѣлил собою всю европейскую исторію, отъ ея первыхъ шаговъ, отъ католичества и средневѣковаго монашества, отъ рыцарства и феодализма, до реформаціи, до капиталистическаго мѣщанства, до социализма, до послѣднихъ проявленій модернизма включительно. Если формула для индивидуализма найдена только в наши дни, если его настроенія только теперь достигли сознанія, то всего вѣро-

ятнѣ—потому, что эти настроенія уже изжиты человечествомъ и на смѣну имъ, можетъ быть, подъ грозою русской революціи, создается новый душевный строй социаль-гуманизма, которому принадлежитъ будущее.

Истинная сущность индивидуализма заключается въ томъ, что нормально растущая личность, прикованная къ своимъ потребностямъ и навсегда замкнутая въ нихъ, относится къ своему счастью, къ удовлетворенію этихъ потребностей, какъ къ единственной цѣли жизни, а на весь внѣшній міръ смотритъ, какъ на средства къ достиженію этой цѣли. Внѣшній-же міръ, съ точки зрѣнія самоцѣльной личности, распадается на двѣ огромныхъ сферы: природу и человечество. Къ природѣ самоцѣльная личность относится съ первичной любовью, вѣрнѣе, съ первичнымъ эросомъ, съ вождельніемъ голода, такъ какъ природа—единственный резервуаръ всевозможныхъ благъ, матеріальныхъ и духовныхъ. Къ человечеству самоцѣльная личность относится съ такимъ-же первичнымъ, незамирно—настороженнымъ чувствомъ соперничества, ибо остальные люди—соискатели тѣхъ-же самыхъ благъ природы, такія-же ненасытныя пасти, какъ она сама.

Когда впервые на землѣ, по легендѣ, двое братьевъ сошлись другъ съ другомъ среди природы, первымъ жестомъ сильнѣйшаго былъ жестъ соперничества и вражды. Иначе и не могло быть, ибо, не будучи благомъ другъ для друга, они оба посягали на одни и тѣ же блага природы.

Отсюда два великихъ историческихъ факта, къ которымъ приводитъ индивидуализмъ. Первый—обращенный къ природѣ, объективнаго характера—заключается въ культурномъ творествѣ. Индивидуализмъ нельзя мыслить безъ культуры. Личность, движимая голодомъ своихъ потребностей, должна прежде всего добывать, создавать предметы, вещи, блага, утоляющіе этотъ голодъ. Въ творествѣ

весь смыслъ и единственное оправданіе индивидуализма. Второй фактъ—психологической окраски, обращенный къ человечеству—заключается въ непримиримой борьбѣ каждой личности со всѣми другими. Исторія Европы выросла изъ индивидуализма, какъ растеніе изъ сѣмени, и поэтому она вся безъ остатка распадается на исторію культуры, т.-е. созиданія благъ и исторію борьбы изъ-за обладанія этими благами. Чѣмъ меньше благъ и чѣмъ труднѣе ихъ добываніе, тѣмъ ожесточеннѣе борьба соискателей. Въ будущемъ можно мыслить такіе усовершенствованные способы производства, при которыхъ благъ, даже самыхъ изысканныхъ, хватить на всѣхъ одинаково. Съ той ступени культурнаго развитія, на которой мы стоимъ теперь, это идеальное будущее представляется почти незримымъ по своей отдаленности. Но и въ этой отдаленной идеальной туманности мы вправѣ мыслить чувство вражды и соперничества уменьшившимся въ своей напряженности, дошедшимъ наконецъ до нуля. Но у насъ нѣтъ ни одного основанія предположить даже въ идеалѣ, что это первичная вражда какимъ-нибудь нормальнымъ, безболѣзненнымъ процессомъ можетъ перейти въ противоположное ему чувство всеобщей любви: въ существѣ индивидуализма нѣтъ задатковъ, нѣтъ сѣмянъ, изъ которыхъ могъ-бы вырости цвѣтокъ любви не вождельющей. Чувство вражды и соперничества—неизмѣнный душевный строй, имманентный индивидуализму законъ общественныхъ отношеній, который Гоббсъ выразилъ формулой: „человѣкъ человѣку волкъ“.

Однако, и волки выходятъ на добычу не въ одиночку, а стаями. Если-бы отдѣльная личность могла собственными силами создать всѣ нужныя ей блага и защитить ихъ, то возможно, что человѣкъ и не сталъ-бы общественнымъ животнымъ. Но силы личности ограничены и въ творествѣ, и въ борьбѣ. Индивидуализмъ неизбѣжно приводитъ къ социаль-

ности, но только къ социаль-эгоизму, къ социальности служебнаго, производнаго характера, т.-е. личность вступаетъ въ общественныя отношенія не изъ симпатіи къ обществу, а ради своихъ эгоистическихъ цѣлей. Такъ, въ основѣ патріотизма лежитъ, конечно, чувство любви, но не гражданина къ гражданину, а каждаго гражданина къ другимъ и тѣмъ же благамъ природы и культуры. Личности вступаютъ между собою въ союзы, образуютъ пехи, сословія, классы, связанные общностью интересовъ и имѣющіе цѣлью взаимную защиту этихъ интересовъ и борьбу изъ-за нихъ съ другими союзами, сословіями, классами. Подобно тому, какъ волкъ среди стаи дѣлается не добрее а смѣлее и кровожаднее, и личность, вступая въ солидарныя отношенія съ другими, не отказывается отъ борьбы съ людьми, но приобретаетъ новое оружіе для борьбы. Между членами союза устанавливаются какъ-бы временныя перемирія, создаются отношенія нейтральныя, но этотъ временный отказъ отъ борьбы личность спѣшитъ наверстать усиленной борьбой со стоящими виѣ союза. Французъ къ французу, столяръ къ столяру, банкиръ къ банкиру въ условіяхъ обыденной жизни никакой любви не чувствуютъ. Даже солдаты одной арміи не испытываютъ другъ къ другу никакой симпатіи. Но стоитъ общему врагу угрожать интересамъ союза, и всѣ его члены зажигаются огнемъ не взаимной любви, но общей ненависти къ общему врагу. Солидарность интересовъ—такъ первый коррективъ противъ духа индивидуализма. Солидарность какъ будто сковываетъ волны индивидуалистической вражды, но иногда это лишь тонкій ледяной покровъ, подъ которымъ текутъ тѣ же волны, еще болѣе темныя и холодныя.

Второй коррективъ противъ индивидуализма и второй источникъ социальности заключается въ кооперативности, въ необходимости для людей создавать культуру сообща. Не только отдѣльная

личность, но и союзъ, классъ, даже цѣлый народъ не въ силахъ создать всѣ нужныя блага собственнымъ трудомъ и гениемъ. Приходится прибѣгать къ чужой помощи. Здѣсь личность предстоитъ личности уже въ новомъ аспектѣ, не какъ соперникъ по обладанію благами и не какъ союзникъ по ихъ защитѣ, а какъ сотрудникъ по ихъ созданию. На сотрудника нельзя смотрѣть только какъ на орудіе, приходится признавать за нимъ самостоятельную сферу правъ. Кооперативность создаетъ тѣ отношенія, которыя мы называемъ правомъ. Признаніе чужаго права, — вотъ крайняя уступка, которую личность можетъ сдѣлать въ пользу ближняго. Эта уступка ведетъ къ гражданственности и миру, но она не въ силахъ преобразить первичнаго взаимнаго соперничества, на которомъ зиждется индивидуализмъ. Стоитъ какому-нибудь классу или народу сознать себя достаточно сильнымъ для того, чтобы обойтись безъ чужаго сотрудничества, и кора правовыхъ отношеній лопается, а скрытое пламя первичной вражды прорывается наружу.

Для полноты слѣдуетъ упомянуть о третьемъ коррективѣ противъ индивидуализма, — о чувствѣ общительности, которое гонитъ личность изъ одиночества на свѣтъ жилья, на говоръ людской. Обѣдъ, сѣдненный въ компаніи, вкуснѣе обѣда, проглоченнаго наединѣ. Большинство-же развлеченій, наполняющихъ наши досуги, — зрѣлища, пляски, бесѣды, — виѣ социальности немислимы. Но нужно-ли прибавить, что связь, рождаемая этой общительностью, въ смыслѣ любви равна нулю и что филлистеръ, состоящій членомъ десяти ферейновъ и благодуществующій каждый вечеръ въ пріятельской компаніи, остается такимъ же черствымъ эгоистомъ и недоступнымъ жалости эксплуататоромъ, какъ если-бы онъ проводилъ всю жизнь мрачнымъ нелюдимомъ?

Кромѣ этихъ трехъ коррективовъ производнаго

характера, индивидуализмъ знаетъ еще два чувства социальности уже несомнѣнно первичныхъ и непосредственныхъ. На первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить чувство половое. Сфера половыхъ отношений, можетъ быть, единственная, въ которой личность предстоить личности, не какъ соперникъ или сотружникъ или сотрапезникъ, а какъ часть природы, какъ вещь, какъ благо само по себѣ, какъ объектъ вождельнiя, какъ предметъ эроса. При зарожденiи каждой семьи вспыхиваетъ этотъ незаимствованный благостный лучъ, и оттого въ индивидуалистическомъ обществѣ семья и отношенiя между ея членами составляютъ особый мiръ, имѣющiй свой источникъ свѣта и живущiй по своимъ законамъ. Но именно вслѣдствiе своей несоизмѣримости съ остальными видами социальности, семья стала величайшимъ врагомъ общечеловѣческой любви. Почти всѣ проявленiя общественнаго зла,—ярость конкуренци, жестокость эксплуатацiи—имѣютъ своимъ мотивомъ и оправданiемъ любовь къ семьѣ, заботу о дѣтяхъ, надежду передать имъ награбленное добро. Тотъ, кто захотѣлъ бы проповѣдывать теперь социальгуманизмъ, долженъ былъ-бы прежде всего порвать между людьми путы семейныя и повторить слова того, кто въ любви къ ближнему видѣлъ благо само по себѣ: оставь отца и мать.

Второе социальное чувство, столь-же первичнаго характера, заключается въ славолубiи и тѣсно связанномъ съ нимъ властолубiи. Кто ищетъ славы или власти, тотъ нуждается въ ближнемъ, какъ въ непосредственномъ объектѣ для удовлетворенiя своей потребности. Но относительно властолубiя само собою понятно, что, будучи социальнымъ и спланивая личность съ обществомъ, это чувство никогда не можетъ стать социальгуманитарнымъ, не можетъ переродиться въ любовь. Наоборотъ, во властвующемъ оно вырождается въ презрѣнiе къ людямъ, а въ толпѣ—въ

ненависть къ властелину. Другое дѣло славолубiе, героическiй импульсъ, который если не переходитъ въ любовь, то какъ бы замѣняетъ ее, заставляя личность отказаться отъ своихъ благъ, жертвовать ими для блага другихъ, во имя чужого признанiя. Къ несчастью, чувство это исключительное и по объему своего дѣйствiя относится ко всей психологiи индивидуализма такъ, какъ острiе церковнаго шпица—къ его громадѣ. Героическiй импульсъ доступенъ только героямъ. Но и герой, жертвующiй собой ради славы, въ большинствѣ случаевъ служитъ не всему человѣчеству, а извѣстному классу или народу, который готовъ вѣнчать его безсмертiемъ и признать своимъ Ахиллесомъ, но подъ условiемъ, чтобы онъ, какъ Ахиллесъ, истребилъ какъ можно большее число враговъ. Герой не того или другаго класса, а всего человѣчества почти невысказанно въ индивидуалистическомъ обществѣ, а если мыслимъ, то скорѣе въ сферѣ, наиболѣе отдаленной отъ психологiи и этики—въ сферѣ научныхъ изслѣдованiй и борьбы съ природой. Наконецъ, истинный героизмъ, по самой своей природѣ, есть нѣчто неустойчивое, обреченное на жертву, самоубийственное. Въ современномъ обществѣ столько зла, вражды, страданiй, что героическая личность должна себя чувствовать каплей воды, пролитой на песокъ Сахары, обреченной на немедленное и почти безслѣдное исчезновенiе. За всѣмъ тѣмъ, все-таки слѣдуетъ признать, что героическое славолубiе есть единственная яркая искра, которую даетъ индивидуализмъ, хотя въ ней-же отрицаетъ себя и трагически сгарааетъ.

Такова психологiя индивидуализма, насквозь проникающая собою всѣ пласты европейскаго человѣчества,—рыцарство, мѣщанство, социализмъ. Чувство самоцѣльной личности было тѣмъ жерновомъ, который перемололъ всѣ событiя европейской исторiи, минувшей и современной, и когда

однажды подъ этотъ жерновъ попало со стороны чужое, твердое, какъ алмазъ тѣло, оно и съ нимъ справилось. Я говорю о Христовой проповѣди любви, залетѣвшей въ европейское сознание случайно, изъ души чужаго народа, изъ глубины невѣдомой ей психологіи, со дна непонятныхъ ей страданій. Слово любви, какъ свѣтъ радія, обладаетъ чудеснымъ свойствомъ все собою пропитать, все заражать своею силой. Оно невольно заразило собой и эгоистическую душу европейца, и много времени понадобилось индивидуализму для того, чтобы претворить въ себѣ, уподобить себѣ, подмѣнить проповѣдь любви. Не умѣя устранить учение Христа, индивидуализмъ фальсифицировалъ его, и не разъ, а дважды, — оставилъ его внѣшній видъ, но влилъ въ него свое собственное содержаніе. Впервые эта фальсификація была совершена католичествомъ, сдѣлавшимъ изъ словъ Христа орудіе борьбы, власти и инквизиціонной свирѣпости. Во второй разъ эту фальсификацію, — уже окончательную, — учинила Реформація, превратившая ученіе о любви человѣка къ ближнему въ ученіе о любви личности къ испутившему ее Богу, о благодарности человѣка за принесенную ради него божественную жертву.

Протестантизмъ замѣнилъ божественную любовь, — любовь къ ближнему во имя Бога, — божественнымъ эросомъ, — любовью къ Богу во имя себя. Впослѣдствіи буржуазія, воспитанная на идеяхъ реформаціи, сдѣлала изъ жертвы Христа условіе духовнаго комфорта, страховой полисъ личности противъ адскаго огня, подушечку совѣсти, которую индивидуумъ клалъ на перины и подушки матеріальныхъ благъ, для большаго удобства. И это длилось до тѣхъ поръ, пока личность перестала вѣрять въ огонь ада, и страхованіе божественною жертвой оказалось ненужнымъ. Тогда религіозное сознание самоцѣльной личности стало лишняя: изъ эгоистически-вѣрующаго („вѣра безъ дѣлъ“) сдѣ-

лалось эгоистически-невѣрующимъ (идеаль „сверх-человѣка“).

За исключеніемъ этого случайнаго эпизода съ христіанствомъ, исторія Европы вся выросла изъ психологіи индивидуализма и вся къ ней сводится. Нравственна-ли эта психологія или нѣтъ, — для философа исторіи вопросъ второстепенный. Для него важно знать, нормальна-ли она и устойчива-ли. Нѣтъ сомнѣній, что душевный строй индивидуализма слѣдуетъ признать нормальнымъ, ибо на планѣ исторіи онъ является продолженіемъ зоологической борьбы за существованіе, но равновѣсіе, создаваемое имъ, нельзя считать устойчивымъ. Свѣтлая сторона индивидуализма заключается въ его отношеніи къ природѣ. Тутъ непритворный восторгъ творчества, тутъ религія жизнерадостности, тутъ обожаніе красоты, неутомимость знанія. Творчество вызываетъ необходимость борьбы, борьба укрѣпляетъ энергію для творчества. Но есть у индивидуализма и темная сторона — неустойчивость всѣхъ образуемыхъ имъ социальныхъ отношеній. Личность вступаетъ въ общество не вслѣдствіе избытка своихъ силъ, а вслѣдствіе ихъ недостатка, и, благодаря этому основному минусу, личность чувствуетъ себя въ обществѣ загнанной и безпомощной. Стоять личности пошатнуться, чтобы она была безжалостно раздавлена. Въ современномъ обществѣ развилось особое чувство, которое можно называть социальнымъ страхомъ. Личность постоянно дрожитъ за свое достояніе и, встрѣчаясь съ ближнимъ, прежде всего со страхомъ ошупываетъ свои карманы и успокаивается лишь тогда, когда она и на лицѣ ближняго читаетъ тотъ-же социальный страхъ. Но тотъ, у кого совсѣмъ нѣтъ достоянія, долженъ бояться за свою жизнь и свободу, ибо въ современномъ обществѣ неимѣніе своего угла составляетъ преступленіе, наказуемое по законамъ. Общество чувствуетъ ужасъ передъ тѣмъ, кому не за что бояться.

Поэтому высшая стройность отношений и общественный порядок в любой из европейских стран являются ничем иным, как временной гармонией взаимно уравновешенных соперничества и страхов. Стоит этому равновесию пошатнуться и паружу прорывается скрытая сущность индивидуализма — вражда всех против всех. Каждая европейская революция и есть такой вулкан безпредельной, почти безпричинной вражды и жестокости. Не зная психологии индивидуализма, мы никогда не поймем таких явлений, как террор французской революции, и не сможем объяснить, каким образом проповедники свободы и братства, будучи искренно проникнуты идеалом справедливости, превзошли по своей бездельной кровожадности Калгулу и Ивана Грозного. Целое поколение как будто онянбло от крови и протрезвилось лишь благодаря кровопусканію наполеоновских войнъ. Впослѣдствіи кора социальныхъ отношеній какъ будто опять отвердѣла, но, кажется, близко время, когда она снова растрескается, и расплавленная лава индивидуалистической вражды снова потечетъ по европейской культурѣ, разрушая все на пути.

Нѣтъ сомнѣній, что если-бы Россія развивалась также нормально, какъ остальная Европа, то психологія индивидуализма сдѣлалась бы и нашимъ душевнымъ строемъ. Но случилось не такъ. Русская личность выросла при условіяхъ, какъ-бы составляющихъ исключеніе изъ общаго историческаго закона, такое-же, какое, напримѣръ, представляютъ собою рыбы, живущія на днѣ океана, изъ общаго зоологическаго закона. Но общему закону ни одна живая органическая ткань не можетъ выдержать давленія свыше нормальнаго. Но вотъ на днѣ океана, на глубинѣ пяти верстъ, подъ давленіемъ свыше 200 атмосферъ, достаточнымъ для того чтобы сплющить толстый металлическій цилиндръ, живутъ и множатся мягкощія суще-

ства, свободно двигаясь подъ вѣчнымъ прессомъ, среди вѣчнаго мрака, обходясь вовсе безъ глазъ или приобрѣвъ вмѣсто глазъ огромные самосвѣтящіеся электрическіе фонари. Русская личность росла и развивалась на днѣ исторіи подъ такимъ-же огромнымъ, сплющивающимъ давленіемъ своей безумной государственности, среди такого-же мрака некультурности. Вѣчно жертвуя слонмъ счастіемъ и достоинствомъ ради отысканія фантастическихъ границъ и цѣлости госудства, русская личность за много вѣковъ потеряла чувство культурнаго зрѣнія, потеряла остроту эгонистическаго голода, и вмѣстѣ съ тѣмъ лишилась импульса къ творчеству, къ созданію условій комфорта, къ научному изслѣдованію, къ эстетическому впечатлѣнію. Вы помните горькое слово Тургенева, когда, посѣтивъ лондонскій музей, гдѣ собраны всѣ образцы всемирной культуры, онъ долженъ былъ сказать себѣ, что если-бы Россія и все ея прошлое превратились въ ничто, въ несуществовавшій сонъ, то ни на одной полкѣ музея не убавилось-бы ни однимъ культурнымъ приобрѣтеніемъ. Въ русскомъ характерѣ, подъ гнетомъ географическаго кошмара, развилась безпечность, равнодушіе, апатія, но глубоко ошибся бы тотъ, кто этотъ сонъ воли принялъ бы за смерть воли, кто на русскую личность смотрѣлъ бы, какъ на паралитика, который долго пролежалъ безъ движенія и теперь долженъ учиться двигаться и ходить. Гегель, рѣшившій въ свой философій исторіи, что у русскаго народа (у славянства) нѣтъ своей исторической миссіи, показалъ только ограниченность индивидуалиста, берушагося судить о духовномъ строѣ, не похожемъ на его собственный.

Русская личность въ своемъ развитіи перенесла страшную болѣзнь, но то была болѣзнь Іова, несущая съ собой не истощеніе, а конечное просвѣтленіе. Мы уже видѣли, чѣмъ была сама по себѣ наша государственность, какой она была окружена ат-

мошферой духовнаго мрака и рабства. Но отношеніе русской личности къ своей государственности не было ни мрачнымъ, ни рабскимъ. Отношеніе это можно сравнить только съ тѣмъ, что въ общежитіи называется несчастной любовью. Бываютъ такіе случаи, когда женщина съ чистымъ сердцемъ и свѣтлымъ умомъ влюбляется въ глупаго фата или въ шуллера, — потому-ли что пришла пора любить, потому-ли что фатъ или шуллеръ съумѣлъ какъ-нибудь затронуть ея воображеніе. Она видитъ его глупость и безчестность, но не вѣритъ себѣ, до тѣхъ поръ, пока какой-нибудь рѣзкій ударъ не растолкаетъ ее и она вдругъ освободится отъ пагубнаго обмана. На недостойнаго виновника любви эта любовь не имѣетъ никакого вліянія. Какъ-бы ни томилась Титанія отъ небесной нѣжности къ своему ослу, уши его не стануть короче, и голосъ—мелодичнѣе. Но для нея, для ослѣпленно-любящей, эта несчастная страсть можетъ стать психологически богаче, прекраснѣе, очистительнѣе, чѣмъ любовь заслуженная и разумная. Вотъ то-же самое произошло съ русскимъ народомъ и русской государственностью.

Народъ влюбился въ единую верховную власть, представительницу единой нераздѣльной Россіи, народъ видѣлъ на каждомъ шагѣ безуміе и вредоносность этой власти, и не вѣрилъ, не хотѣлъ вѣрить своимъ глазамъ, потому что любилъ,—до тѣхъ поръ пока разгромы севастопольскій и японскій не разбудили его отъ опаснаго навожденія. Возможно, что политическое ослѣпленіе такихъ художниковъ, какъ Пушкинъ и Достоевскій, объясняется желаніемъ во что-бы то ни стало оправдать ослѣпленіе народное, желаніемъ сына оправдать несчастную любовь своей матери. На власть эта любовь и принесенныя ради нея жертвы насколько не повліяли. Князь не становился менѣе самодурнымъ, опричнина—менѣе свирѣпой, чиновни-

ки—менѣе продажными. Но для психологіи народной она имѣла рѣшающее значеніе. Медленнымъ упорнымъ процессомъ, похожимъ на процессъ образованія кристалловъ въ земной корѣ, русская личность внутренне преображалась. Постоянный отказъ отъ своего счастья, во имя государства, обнищаніе личной жизни творчествомъ и красотой, вызванное этимъ обнищаніемъ безволіе,—все это медленно глушило и тушило въ русской личности сердцевиный огонь вражды и соперничества, который составляетъ скрытую двигательную силу европейскаго индивидуализма. Втеченіи долгихъ вѣковъ русская личность привыкла помѣщать центръ жизни не въ себѣ, а въ чемъ-то внѣшнемъ, огромномъ, безкрайнемъ, привыкла ставить цѣлое выше частнаго, „не-я“ выше „я“. Сила центристремительнаго вождѣленія медленно стала превращаться въ силу центробѣжную, въ силу излучиванія. То, что мы завемъ личнымъ эгоизмомъ, вполне можетъ быть уподоблено силѣ притяженія. Каждый атомъ дѣйствуетъ такъ, какъ будто бы онъ былъ центромъ вселенной: влечетъ, тянетъ всѣ другіе атомы къ себѣ. Это и есть психологія индивидуализма. Атомы вступаютъ другъ съ другомъ въ союзы, образуютъ тѣла, конгломераты тѣлъ, планеты, которыя, черезъ взаимное притягиваніе, устанавливаютъ какую-то гармонію, не исключашую, однако, возможности столкновений и катастрофъ. Но есть еще другая сила—сила свѣта, которая не тянетъ къ своему центру, а, наоборотъ, сама вѣчно отдаетъ себя, отъ центра бѣжитъ вдаль. Впрочемъ, лучи обыкновеннаго свѣта стремятся вдаль лишь до тѣхъ поръ, пока не встрѣтятъ преграды. Тогда они отражаются и идутъ назадъ. Но въ природѣ есть еще лучи ультра-фіолетовые и лучи радія, не отражающіеся, всепроникающіе. О нихъ по истинѣ можно сказать, что они вѣчно стремятся впередъ, въ поискахъ несуществующихъ границъ, вѣчно тратятъ

свое „я“ для того, чтобы освѣщать и согрѣвать ближнее и дальнее, вселенское «не-я». Подъ давлѣніемъ историческихъ судебъ въ русскомъ сознаниіи и совершился таинственный процессъ трансформации одной силы въ другую: русская личность стала радиоактивной, начала излучивать отъ себя къ народу, отъ себя къ обществу, отъ себя къ человѣчеству грустную, блѣдносвѣтящуюся, всепроникающую нѣжность. вмѣсто вождѣнія, хотя-бы эстетическаго, вмѣстѣ вражды, хотя-бы и священной, вмѣсто мстительности, хотя-бы и справедливой въ русскомъ сознаниіи зажглось новое, еще невѣдомое донинѣ, можетъ быть жемчужно-болѣзненное, въ болѣзни выстраданное, съ темнаго дня исторіи вынесенное на свѣтъ чувство социаль-гуманитарное, чувство всечеловѣческой любви.

Я хорошо знаю, какія мнѣ могутъ быть сдѣланы возраженія и также знаю, какъ вообще ничтожны и бесплодны всякія національныя самоопредѣленія и самовосхваленіи. Нѣтъ народа, который не считалъ-бы себя или богоизбраннымъ, или христіаннѣйшимъ, или культурнѣйшимъ, что однако не мѣшало этимъ народамъ бороться другъ съ другомъ, стремиться къ богатству и власти, словомъ дѣйствовать и мыслить совершенно также, какъ и всѣ другіе обитатели земли. Не окажется-ли такимъ-же призракомъ и признаніе русскаго народа любвеобильнѣйшимъ? Меня также могутъ спросить: въ какихъ собственно явленіяхъ русской жизни, — историческихъ или бытовыхъ,—я вижу воздѣйствіе этой будто-бы присущей русской личности особенной социаль-гуманитарной любви? Въ жестокости-ли русскихъ войскъ при покореніи и усмиреніи сосѣднихъ народовъ? Въ звѣрствахъ-ли Разиныхъ и Пугачевыхъ? Въ пыткахъ-ли и казняхъ, на которыхъ до послѣдняго времени держался русскій судъ? Въ семейномъ-ли быту русскаго купечества, созданномъ по Домострою? Или

русскихъ ремесленниковъ, гдѣ смертный бой женъ и дѣтей составляетъ до сихъ поръ самое обыденное явленіе? Въ отношеніи-ли русскихъ помѣщиковъ къ своимъ крѣпостнымъ? Въ подвигахъ-ли современныхъ черныхъ сотенъ? Въ психологіи-ли истинно-русскихъ людей? Въ погромахъ-ли, чинимыхъ надъ беззащитнымъ населеніемъ? И т. д. И т. д.

Вопросамъ этимъ, знаю, не будетъ конца, и—увы!—фактически противъ нихъ ничего возразить нельзя. Но слѣдуетъ помнить, что жестокость нашихъ нравовъ большею частью является не столько результатомъ русской психологіи, сколько отраженіемъ, отдачей того мучительства, которое наша пагубная государственность производила до сихъ поръ надъ личностью. Въ средніе вѣка существовала такая пытка, заключающаяся въ томъ, что двухъ близкихъ по крови людей, мать и сына, брата и сестру, связывали вмѣстѣ и жарили обоихъ на медленномъ огнѣ до тѣхъ поръ, пока оба, освирѣпѣвъ и обезумѣвъ отъ боли, не выплялись другъ другу когтями въ лицо и тѣло. Въ Россіи всѣ народности, всѣ сословія, и вообще всѣ личности относились иногда другъ къ другу съ такой-же невольной, отраженной, ослѣпленной жестокостью, какъ эти истязуемые братья и сестра, ибо всѣхъ одинаково доводило до изступленія палачество государственной власти. Впрочемъ, говоря о пребраженной русской психологіи, я не думаю утверждать, что русская личность уже теперь стала совершенной и ангелоподобной. Я лишь утверждаю, что подъ историческимъ гнетомъ въ русскомъ сознаниіи образовалось новое чувство, зажегся новый свѣтъ, новый идеалъ. Но для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, необходимо разсмотрѣть не низшія и не будничныя побужденія русской личности, а ея идеальныя стремленія и сравнить ихъ съ идеальными-же стремленіями другихъ народовъ. Вѣдь и раковина, содержащая

жемчужину, отличается отъ другихъ не своимъ внѣшнимъ видомъ и качествами, а только присутствіемъ въ ней этой самой болѣзненно-выстраданной жемчужины, которой нѣтъ въ другихъ. Поэтому какъ на доказательство своего утвержденія я долженъ сослаться на самыя идеальныя явленія русской жизни и, прежде всего, на нашу литературу.

Русская литература, вѣрнѣе, русскій романъ— явленіе такого громаднаго всемірнаго значенія, что считать его случайнымъ, не связаннымъ съ самой завѣтной психологіей русской личности, совершенно нельзя. Такъ отнеслось къ нему все культурное человѣчество. Всѣ сразу почувствовали, что рѣчь идетъ не о новыхъ виртуозахъ слова, не о новой школѣ или манерѣ письма, но о новомъ строѣ душевномъ, о невѣдомой до нынѣ духовной субстанціи, но какой? Европейская критика сказала о русскомъ романѣ все, что могла, связала его съ христіанствомъ, сводила къ чувству жалости, присущей славянской натурѣ, къ религіи человѣческихъ страданій,—сказала все, кромѣ главнаго и единственнаго, ибо тогда она должна была-бы осудить сплошь свою собственную не только литературу, но и культуру. Мы, воспитавшіеся на русскомъ романѣ, чувствуемъ, что въ немъ живетъ какая-то особенная правда, которой нѣтъ слѣда въ произведеніяхъ европейскихъ. Но эта правда вовсе не то, что называется реализмомъ. По остротѣ наблюденія и вѣрности передачи ни Теккерей, ни Флоберъ, ни Зола не только не уступятъ нашимъ романистамъ, но, можетъ быть, еще превзойдутъ ихъ. Однако правда экспериментальнаго романа кажется намъ такою-же неправдой, какъ и вымыселъ романтизма. Дѣло въ томъ, что въ европейской литературѣ, несмотря на различіе школъ и пріемовъ, мы всегда слышимъ фальшивую ноту индивидуализма, всегда видимъ его судорожную примасу. Писатель-инди-

видуалисту, прикованному къ тачкѣ личнаго эгоизма, остается одно изъ двухъ: или превозносить личное начало, рисовать его въ героическихъ чертахъ, притворяться всемірно-возвышеннымъ, будучи мелко-замкнутымъ, т.-е. лгать, или же рисовать индивидуализмъ въ его подлинныхъ, чертахъ, искаженныхъ злобой и отталкивающихъ, т.-е. обличать. Романтизмъ, идеализируя, лжетъ-реализмъ, говоря правду о лжи, осуждаетъ: „J'accuse“. Не то мы видимъ въ литературѣ русской, которая вмѣщаетъ въ себѣ высшій идеализмъ съ крайнимъ реализмомъ. Происходитъ это оттого, что русскій писатель относится къ изображаемымъ лицамъ точно также, какъ эти лица относятся къ міру, — любя міръ, вселенски съ нимъ сливаясь, преображая его. Русскіе художники говорятъ правду о правдѣ. Вслѣдствіе этой коренной разницы настроеній есть такая ступень, такая высота, съ которой для насъ, воспитавшихся на русскомъ романѣ, вся европейская литература кажется и должна казаться сплошною ложью, декламашей, изысканностью, не исключая ни высшихъ гимновъ къ природѣ Шелли, ни будто-бы холоднаго олимпійства Гете, ни будто-бы пламенной сентиментальности Шиллера, ни разочарованнаго демонизма Байрона, ни жизнерадостнаго демонизма Ницше и Ибсена. Чѣмъ европейскій писатель краснорѣчивѣе, патетичнѣе, электрически— ярче, тѣмъ болѣе онъ расходится съ тѣмъ, что мы называемъ правдой, и неудивительно, что геніальнѣйшій, создавшій наиболѣе свѣтлыхъ бликовъ и темныхъ пятенъ, Шекспиръ долженъ былъ показаться нашему Толстому самымъ надуманнымъ и фальшивымъ изъ всѣхъ.

Различія между духомъ европейской литературы и нашей такъ рѣзки и постоянны, что они могутъ быть схвачены общею формулой. Можно сказать, что содержаніе и пафосъ европейскаго романа и русскаго остаются неизмѣнными. Всякій европей-

скій романъ, по содержанию, неизмѣнно сводится къ изображенію челоѣка, всякій русскій романъ также неизмѣнно сводится къ преображенію, къ „воскресенію“ челоѣка. Паѣось или двигательная сила европейскаго романа—любовь къ природѣ, къ предметамъ и трагизмъ челоѣческихъ коллизій. Паѣось русскаго романа, наоборотъ, заключается въ презрѣніи къ предметамъ и въ страстной, то умилненной, то гнѣвной, смотря по темпераменту писателя, любви къ людямъ. Въ этомъ отношеніи наши писатели, при всемъ различіи политическихъ и религіозныхъ идей, представляютъ удивительное единство. Казалось-бы, нельзя вообразить большую пропасть, нежели та, которая раздѣляетъ религіозность Достоевскаго отъ атеизма Чехова или проповѣдь непротівленія Толстого отъ проповѣди революціоннаго мщенія Горькаго. А между тѣмъ, всѣ они вдохновлены одною страстью и горятъ однимъ свѣтомъ. Въ твореніяхъ каждаго изъ нихъ просвѣтляется и преобразуется какая-нибудь темная сторона жизни,—подпольная озлобленность, барское безсердечіе, интеллигентная дряблость или босаяцкое отчаяніе. И монахъ Зосима, и князь Неклюдовъ, и офицерскія три сестры, и бродяга Лука, — всѣ они дѣти одной семьи, все они идутъ по одной дорогѣ,—отъ эгоизма къ любви, отъ своего „я“ къ челоѣчеству, и оттого всѣ ихъ слова и поступки не краснорѣчивы, не—эстетичны, не—въ себѣ замкнуты, а правдивы, проникающе—властны, всемірны.

Столь-же паразитально единодушіе русскіхъ писателей въ ихъ отрицательномъ отношеніи къ культурѣ, порожденной индивидуализмомъ. Достоевскій ведетъ подкопъ подъ самую основу индивидуализма, — подъ эвдемонизмъ, подъ всеобщую увѣренность, что челоѣкъ стремится къ наслажденіямъ и бѣжитъ отъ страданій. Толстой, болѣе другихъ увѣренный въ своей правотѣ, вышвыриваетъ изъ своего храма всѣ плоды просвѣщенія

вообще,—науку, искусство, медицину, астрономію, химію, музыку Бетховена, поэзію Шекспира, отвергаетъ все культурное творчество во имя не дѣланія, какъ прежде отвергалъ всю культурную борьбу во имя непротівленія. Съ устраненіемъ-же творчества и борьбы отъ культуры не остается ничего. Младшіе богатыри русскаго романа, Чеховъ и Горькій,—каждый по своему, тоже ополчаются на культуру. Чеховъ, болѣзненно влюбленный въ искренность, боится философіи, искусства, религіи, какъ чего-то, превышающаго силы простой, нехитрой души, какъ красивой лжи, какъ риторической натяжки. Онъ золь на профессора эстетки и дѣлаетъ изъ него пошлаго идиота, золь на философа и заключаетъ его въ сумашедшій домъ, золь на ученаго и доводитъ его до ипохондріи. Что-же касается Горькаго, то весь міръ, созданный имъ, является антиподомъ культуры. Во имя голой и босаяцкой правды Горькій, кажется, готовъ отвергнуть не только высшія, но самую начальныя блага культуры, до осѣдлости, до своего угла включительно. У каждаго изъ этихъ писателей есть какъ будто свой пунктъ, къ которому онъ стремится. Достоевскій указываетъ на монастырь, Толстой зоветъ въ крестьянскую хату, Чеховъ заглядываетъ въ уютный домикъ, гдѣ живутъ настоящіе, искренніе люди, Горькій наровитъ въ ночлежный домъ. Но на самомъ дѣлѣ они всѣ боятся не культуры, а ея индивидуалистической закваски, боятся новаго культурнаго фарисейства, не менѣе убійственнаго для духа любви, чѣмъ древнее іудейское.

Этотъ своеобразный душевный строй присущъ не только нашимъ художникамъ, но и писателямъ по вопросамъ философскимъ и социальнымъ. Когда русскіе социаль-демократы повторяютъ европейскіе термины, они вкладываютъ въ нихъ свое содержаніе и, говоря напримѣръ, о будущемъ господствѣ пролетаріата, разумѣютъ вовсе не то, что

ихъ европейскіе единомышленники, разумѣютъ государство основанное не на солидарности интересовъ, а непременно на взаимной любви. Еще рѣче видно это различіе въ той области, гдѣ русскому гению пришлось сыграть особенно выдающуюся роль,—именно въ ученіяхъ объ анархизмѣ. Казалось-бы, что анархизмъ, отрицая государство во имя личности, не можетъ не быть индивидуалистическимъ. Это вѣрно по отношенію къ анархистамъ европейскимъ. Они отрицаютъ современное государство, потому что оно служитъ эгоизму немногихъ и направлено противъ эгоизма всѣхъ. Будущее общество, основанное на эгоизмѣ всѣхъ, на свободномъ договорѣ всѣхъ членовъ, должно руководствоваться принципомъ справедливости: каждому свое. Русскіе-же анархисты отрицаютъ теперешнее государство, потому что оно сковано закономъ и не даетъ простора врожденному намъ чувству любви. Будущее общество, должно держаться на принципѣ: каждому все, каждый беретъ все, что ему нужно и даетъ все, что можетъ. Но вотъ нѣсколько цитатъ, нѣсколько отвѣтовъ русскаго и европейскаго анархизма на основные вопросы морали и общественности. Буду ссылаться на теоретиковъ анархизма, наиболѣе извѣстныхъ и вліятельныхъ,—Прудона, Штирнера, Тэкера, Бакунина и Кропоткина, оставляя въ сторонѣ Толстого, о которомъ мы уже говорили.

Каковъ истинный принципъ общественнаго устройства?

Отвѣты европейскаго анархизма:

„Для того чтобы я оставался свободнымъ и не подчинялся никакому закону, кромѣ созданнаго мною самимъ, для того чтобы я управлялъ самъ собою, необходимо построить все зданіе общества на идеѣ добровольнаго договора“. (Прудонъ, *Idee générale*, p. 235).

„Что такое добро, что такое зло? Я принадлежу себѣ, а я не добръ и не золь. Эта двойственность

для меня не имѣетъ смысла. Мое благо не благо божественное или человѣческое, не истина, не добро, не право, не свобода, а единственное мое благо. Оно не всеобщее, а единично, какъ единично мое «я». Ничего нѣтъ выше моего «я». (Штирнеръ, *Der Einzige und sein Eigentum*).

„Я ничего не дѣлаю „изъ любви къ Богу“, ничего не дѣлаю «изъ любви къ человѣку», но все, что совершаю, я дѣлаю изъ любви къ себѣ». (Штирнеръ, тамъ-же, 426).

„Наслажденіе жизнью должно торжествовать надъ жаждой жизни, должно одолѣть ее въ ея двойномъ проявленіи, должно равно уничтожить духовное стремленіе, какъ и тѣлесное, должно искоренить въ насъ жажду идеала, какъ и физической голодь». (Штирнеръ, тамъ-же, 429).

„Анархисты не утилитаристы, но эгоисты въ строгомъ значеніи слова.—«Единственный критерій нашего естественнаго права, это—сила.—«Всякій вправѣ убить или поработить ближняго, вправѣ подчинить себѣ весь міръ, лишь-бы онъ былъ въ силахъ это исполнить».—«Но для индивидуума выгоднѣе, чтобы онъ былъ окруженъ такими же какъ онъ свободными личностями». (Тэкеръ, глава американскаго анархизма, редакторъ журнала *Liberty*, авторъ книги «*Instead a book*»).

Теперь выслушаемъ отвѣтъ русскаго анархизма:

„Индивидуумъ не иначе можетъ сознать свои человѣческія права и осуществить ихъ, какъ познавая ихъ во всѣхъ другихъ людяхъ и участвуя съ ними въ ихъ осуществленіи. Никто не можетъ освободить себя, не освободивъ вокругъ себя всѣхъ другихъ людей». — «Свобода индивидуума ничто иное, какъ отраженіе его человѣческаго достоинства и права въ сознаніи всѣхъ свободныхъ людей,—его братьевъ и равныхъ». (Бакунинъ, *La théologie politique de Mazzini*, 91).

„Искренняя“, безкорыстная наука показываетъ намъ, что всякое развитіе предполагаетъ отрицаніе

отправной точки. Такъ какъ по учению матеріалистовъ, основа или отправная точка нашей жизни матеріалистическая, то наша цѣль, отрицая ее, по необходимости должна быть идеалистической“.

(Бакуининъ, Dieu et l'Etat, 52).
„Мы вѣрнемъ въ торжество челоѣчества на землѣ. Къ этому торжеству мы зываемъ изъ глубины души и стараемся приблизить его общими усилиями“. Бакуининъ, ib. 152).

На чемъ будетъ основываться право собственности въ идеальномъ обществѣ?

Отвѣтъ европейскаго анархизма:

„Если мы хотимъ завладѣть землей, отнявъ ее у теперешнихъ собственниковъ, то давайте соединимся вмѣстѣ, образуемъ союзъ, который и сдѣлается собственникомъ земли... Такимъ-же образомъ, если мы хотимъ лишитъ теперешнихъ собственниковъ ихъ другого достоянія, отнимемъ и его, сдѣлаемъ его собственностью похитителей... Соединимся вмѣстѣ, чтобы совершить эту кражу“.

(Штирнеръ, Der Einz., 330).
„Каждому принадлежитъ въ собственность то, что онъ создалъ своимъ собственнымъ трудомъ“.

(Тэкеръ).

Отвѣтъ русскаго анархизма:

„Каждое открытіе, каждый шагъ впередъ, каждое обогащеніе знаній коренится въ физическомъ и умственномъ трудѣ прошлаго и настоящаго. Какое-же имѣю я право присвоить себѣ малѣйшую частицу этого безконечнаго цѣлаго и сказать: это принадлежитъ мнѣ, а не всѣмъ вамъ?“ (Кропоткинъ, Conquête du pain. 8—9).

Каковы будутъ отношенія свободнаго, основаннаго на договорѣ, общества къ отдѣльной личности?

Отвѣтъ европейскаго анархизма:

„Если ты поклялся исполнить договоръ, ты становишься членомъ союза свободныхъ людей. Въ случаѣ нарушения договора, съ ихъ стороны или съ твоей, вы отвѣтственны другъ передъ другомъ“.

Отвѣтственность эта, смотря по важности мотива или рещидиву, можетъ повлечь за собою исключеніе изъ общества и даже смертную казнь. (Прудонъ, Idée gén. 342—343).

„Общество вправѣ принудитъ каждаго исполнить обѣщаніе, данное въ договорѣ. Въ случаѣ нарушенія договора общество, подвергая нарушителя смерти, не совершаетъ убійства... Возможно даже, что къ нарушителю будетъ примѣнена пытка, но лишь въ томъ случаѣ, если смертная казнь и тюремное заключеніе окажутся неэффективными“.

(Тэкеръ).

А вотъ отвѣтъ русскаго анархиста:

„Не будетъ ни тюремъ, ни другихъ карательныхъ учреждений: Что-же касается личностей съ преступными наклонностями, то самой честной и практической исправительной мѣрой для нихъ будетъ наше братское къ нимъ отношеніе, нравственная поддержка, которую они найдутъ въ насъ, полная свобода“.

(Кропоткинъ, Les prisons, 58).
„Каждый челоѣкъ, несмотря на свою силу или слабость, гений или тупость, прежде всего имѣетъ право на жизнь. У каждаго изъ насъ врожденное право на удобства жизни, и каждому принадлежитъ право рѣшить самому, въ чемъ эти удобства для него заключаются.— Въ случаѣ нехватки матеріаловъ, въ будущемъ обществѣ преимущество будетъ принадлежать старикамъ и дѣтямъ, словомъ наиболѣе слабымъ“.

(Кропоткинъ, Conquête du pain, 28, 283).
Эти цитаты, которыя могутъ быть продолжены безъ конца, достаточно краснорѣчивы сами по себѣ и не нуждаются въ комментаріяхъ.

Цитаты эти ярче всякихъ разсужденій показываютъ, какъ велика разница между нашимъ душевнымъ строемъ и европейскимъ. Бакуининъ и Кропоткинъ по убѣжденіямъ примыкаютъ къ матеріалистамъ и на словахъ какъ будто проповѣдуютъ индивидуализмъ, но за словами и убѣжденіями, которыя могутъ быть наносными, волнуетъ

ся еще міръ стихійныхъ чувствъ, скрывается вся творческая природа человѣка, и вотъ на глубинѣ этой первичной „*natura naturans*“ Бакунинъ и Кропоткинъ являются живымъ отрицаніемъ индивидуализма и страстными, хотя и безсознательными, апостолами всечеловѣческой, индивидуально-непостижимой, только мистически оправдываемой вселенской любви. Между тѣмъ Прудонъ и Штирнеръ, на словахъ воюя противъ государства и принципа власти, обнаруживаютъ какъ разъ тѣ чувства и настроенія, которыми вдохновлялись всѣ узурпаторы власти и поработители народовъ: безусловный эгоизмъ и культъ силы. То, что Наполеонъ считалъ закономъ только для себя, Штирнеръ хотѣлъ бы возвести въ законъ для всякой личности. На мѣсто одного безусловнаго эгоизма ставится миллионъ такихъ же безусловныхъ эгоизмовъ. Форма жизни какъ будто измѣнилась, но духовное содержаніе осталось неизмѣннымъ. Разница между диктаторскими наклонностями Наполеона и анархической мечтою Штирнера только количественная. Качественно же, не выходя изъ предѣловъ европейской исторіи, трудно найти явленіе, которое не объяснилось бы удовлетворительно философіей безусловнаго эгоизма, и вполне логично поступилъ Ницше, противопоставляя идеаль свѣрхчеловѣка не тому или другому европейскому идеалу, а ученію Христа. Съ равнымъ правомъ онъ могъ бы противопоставить свой индивидуализмъ тому идеалу любви, который долгое время невысказанно тлѣлъ въ чувствѣ русскаго народа, потомъ ослѣпительнымъ лучемъ вспыхнулъ въ творчествѣ русскаго романа, а теперь, сквозь мглу нависшаго надъ нами кровожаднаго безумія умирающей государственности, яркимъ огнемъ горитъ въ сознаніи и въ дѣйствіяхъ русской революціи.

Н. Минскій.